

8

Внешние
впечатления





И и моя семья, ни я, одиннадцати-двенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит, и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади.

Семья слабо разбиралась в политике.

Когда в первые дни февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городовых) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «гордовиками» и боялись приближаться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.

Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры полки, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка — полковник из русских немцев, как блестели кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурmajор перед оркестром.

Да и до революции...

Когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах обутые в лапти, чтобы не скользить, крестьяне, приехавшие в город на заработки, — я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова.

То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровенные катали вкатывали быстро-быстро свои тачки с тяжеленным грузом, чтобы взобраться, не останавливаясь, по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную. Мы жалели каталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семьи на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом.

Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, — это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Спесивцева с Люком были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и перед старой.

А ведь как это было замечательно! Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр!

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов — конечно, университетский.

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в универси-

тет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а — обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин — известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессоры. Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершились условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета — Виктора Максимовича Жирмунского. Ему так же условно была присуждена степень доктора, но не условно аплодировали и подносили цветы. Темой «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку — кто как к нам обращался; «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессоры знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их многоказалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие

из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» — учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачёв (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО — общество-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, — здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — самом начале XIX века, другую — о повестях о патриархе Никоне.

К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрялся составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавляемом Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редко-

сти и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе было тьма-тьмуящих различных лекториев и мест встреч — начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей — особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств. Единственное, о чем я жалею, это о том, что не все удалось посетить.

